

# путешествие вокруг одного путешествия

Дождался второго локдауна в Латвии, чтобы прочесть «Путешествие вокруг моей комнаты». Хотя поначалу не был уверен: «прочесть» или «перечесть». Может, и читал когда-то, в те времена, когда читалось привольно, когда было полно свободного времени и напитки лились рекой. Не затесался ли Ксаверий де Местр в некий перестроечный или раннепостсоветский сборник, вроде «Французской повести XVIII — начала XIX в.», «Европейской прозы сентиментализма» и проч.? Ведь уже не упомнить из тех прекрасных книг ничего, почти ничего, ну Шатобриан там промелькнул, как ни странно, что-то про индейцев, да Бенжамен Констан, столь любимый Вяземским и Л. Я. Гинзбург. Из-за воспоминаний про Констан в связи с невспоминаемостью Ксавье я, сидя в полуобустроенной квартире, после переезда, пришедшегося на вторую волну «короны», принялся листать том Вяземского, который в позапрошлой жизни издали в советской серии «Памятники эстетической мысли». Ну и чтобы

не сойти с ума от комбинации «ремонт + переезд + локдаун». Вяземского я чуть ли не наизусть когда-то выучил, хватаясь за все его, что попадалось на глаза, даже за данный памятник мысли эстетической... И была мечта разориться на собрание сочинений, выпущенное в конце XIX столетия С. Д. Шереметевым. В девяностые я часто бывал в Питере и останавливался у своего тогдашнего приятеля поэта П. Пили мы с П. прилежно; похмельные утра я проводил в его кабинете, валяясь на раскладушке, перелистывая то один, то другой том шереметевского собрания. Издания основательные, как положено в тот бородатый век, с золотым тиснением и без перевода с французского на русский. А князь записывал иногда в тетрадки свои на французском, которого я не знаю. Чистейшее из искусств — старый резонер Вяземский, в вечном своем потрепанном халате, с сигаркой во рту, на курносом носу круглые очки, тиснутый для назидания современников и потомков мужем его внучки, князем же Сергеем Дмитриевичем Шереметевым. Впрочем, со времен похмельного лежания на раскладушке в кабинете поэта П. прошло много лет, двадцать пять примерно, никто не помнит ничего. И вот сегодня камбэк эпидемии плюс житейские обстоятельства побудили меня опять листать Вяземского. Первым, что я обнаружил в потрепанном коричневом томе, который выдало издательство «Искусство» в год смерти Андропова, оказалось: «Неволя была, кажется, музою-вдохновительницей нашего времени». Это тридцатилетний князь о «Кавказском пленнике» двадцатидвухлетнего Пушкина. К Пушкину я, увы, еще вернусь. Но пока о Ксавье де Местре.

В общем, пришлось снизойти до гугла и проверить. Нет, не было «Путешествия вокруг моей комнаты» ни в какой антологии переводов с французского тех блаженных времен, когда переводчики могли себе позволить медленно пережевывать переводимое сочинение, не спеша прикидывая, как бы им половчее выразить его в другом наречии и для совсем других людей. И вправду, вот уж кому не повезло с концом

советского, так хорошим переводчикам. Кто бы сегодня разрешил Любимову медленно заныривать в Лескова и Тургенева перед тем, как браться за Пруста? Кто бы дал ему пару лет для настройки чужих лексических струн по интонационным камертонам родного языка? Кто вообще предоставил бы ему (нам) время просто подумать, собраться с духом и мыслями, и сделать поражающую воображение работу? И кто нам сегодня позволит читать одну за другой две тысячи страниц о Сен-Лу и Мореле, об Альбертине и Жильберте, о бабушке и Франсуазе, о том, как Одетта иногда вставляла в свою речь английские слова, чтобы казаться *posh*, и как она звала избранных на чай, именно на чай, а не кофе, ведь в высшем обществе положено было быть слегка (но только слегка) англизированным? Никто не позволит, да и сами мы себе не позволим. Вот в чем проблема, сами. Дело не в проклятом неолиберализме, что беспощадно гоняет интеллигента по адовым велодорожкам прекарности, нет. Дыхание не то. Было стайерское, а стало даже не спринтерское, нет, истерическая одышка, судорожные всхлипы астенического синдромщика. Астматик Пруст смотрит с того света на нас с укоризной: близость курносой, что столько лет ночевала на кушетке его обитой пробковыми обоями комнаты, добровольного узилища, сладкой неволи, не сделала прерывистым дыхание его прозы. Убыстрила — конечно. Но и все. Собственно, последние тома «Поисков» — монструозно раздутое путешествие Пруста вокруг комнаты, куда он себя заключил. Закончил же он путешествие, отправив Марсея в Венецию, одну часть своих героев — на тот свет, а другую — по направлению к Вульгарности, невообразимой в первых томах. Принц Германтский женится на буржуазке Вердюрен, а герцог Германтский, покоцанный жизнью старичок, все же похожий на «прекрасную античную головку, поврежденную временем, которыми мы тем не менее с гордостью украшаем свои кабинеты», сходится с Одеттой. Так и устроена эта эпопея, по нисходящей спирали: трагедия пыточной ревности Свана возвра-

щается параноидальной драмой Марселя, драма Марселя возвращается опереточным фарсом герцога Германтского: выдавшая виды Одетта стала пленницей в гроб сходящей посредственности. Я часто думаю об удивительной злости, нет, не злости, а злобности последних томов «Поисков». О том, как сложный, нафаршированный крошечными психологическими пружинками, миниатюрными социальными шестеренками мир грубо упростился; то, о чем и помыслить нельзя было в первой книге, безо всяких препятствий, просто и естественно случается в последних двух. Ответ, наверное, таков. Сразу после войны Пруст заточает себя в комнате с пробковыми обоями, но, в отличие от нашего времени, болезнь не вокруг, а внутри, в нем, в самоизолянте; задышавшись, он тянет лямку своей эпопеи, но на страницах все меньше и меньше воздуха — как и в его легких — и все больше и больше яда. Обреченная, мстительная мастурбация на закрытый, больше недоступный для Пруста мир — вот что это такое. Пруст кончает, роман кончается, мир распахивает двери пробковой комнаты и входит в нее светом, воздухом, шумом печатного станка. Так бы и назвал эти последние книги: «Путешествие задрота вокруг своей комнаты».

И все равно Пруст — герой, а мы — так, хлюпки жалкие. Закрыли на несколько месяцев, в основном даже и не в комнате и не в квартире, а в городе, в стране, на своем континенте, а мы уже и скудить. Да, дверь снаружи заперли, зато сколько времени подарили, мол, нате, вот оно. И что же вышло? Да ничего. Непрочитанные списки того, что стоит почитать в локдауне.

В одном из них, почему-то в *Irish Times*, я наткнулся на Ксавье де Местра. Вспомнили, нá тебе. Ирландцы. А я сам по себе не вспомнил — даже не смог вытащить из памяти, читал я «Путешествие» или нет. И вот здесь (отступление про Пруста и переводчиков заканчивается в данной точке, и я возвращаюсь к главной своей теме) пришлось снизойти до гугла и проверить. Нет, не было этой вещи

нигде до 2003-го, когда она вышла в издательстве «Грейта» в переводе Ф. И. Смирнова и в сопровождении его же статьи. Не считая, конечно, вот этого: «Путешествие по моей комнате / С французского перевел Кряжев. Москва: В привилегированной типографии Кряжева, Готье и Мея, 1802». Хотел бы я знать, кто такой Кряжев, который и типографией владел — совместно с господами Готье и Меем, — и книгу Ксавье де Местра перевел. Вот еще интересно — читал ли сам автор русскую версию своей безделки? В 1802-м Ксавье де Местру, судя по всему, приходилось несладко: с русской военной службы уволился в чине капитана, перспектив не открывалось никаких, пришлось открыть в Москве художественную мастерскую и снискивать пропитание уроками живописи и рисованием миниатюр на заказ. Заплатил ли Кряжев автору? И как вообще в те далекие времена копирайт был устроен? Надеюсь, заплатил-таки. В любом случае Ксавье, думаю, не пропал бы — его старший брат Жозеф в том самом 1802-м оказался в Санкт-Петербурге сардинским посланником. А он был человек со связями.

Надо сказать, что о младшем брате де Местре я услышал впервые благодаря старшему. В СССР к Жозефу снисхождения не имели — вражина ультракатолическая, что тут скажешь. Но упомянули где-то в примечаниях к Мандельштаму плюс, кажется, к самому Марксу. Ну и, конечно, к «Русским ночам» князя Владимира Одоевского; ведь даже название этого сочинения восходит к «Санкт-Петербургским вечерам» Ж. де Местра. А вот про Ксаверия узнать оказалось еще сложнее; да, изредка его имя всплывало в кропотливой советской пушкинистике (я же предупреждал: черт, опять об Пушкина), но сей род сочинений не про меня как был, так и есть. «Путешествие вокруг моей комнаты» впорхнуло в мою голову, чтобы остаться там — вплоть до нынешних коронавремен исключительно в качестве названия — благодаря все-таки Борхесу, который, кажется, поставил целью своей баснословно долгой жизни упомянуть всех (не)заслуженно

забытых писателей последнего тысячелетия. В «Алефе» я прочел о «бессмертной безделке, которой мы обязаны досугам славного савояра», а неизменно вежливый комментатор издания подсказал мне, о каком савояре идет речь. О нем, о Ксаверии. Идея посвятить вещь перемещению по собственному жилью, сопровождая вояж самыми разнообразными отступлениями, мне понравилась. Примерно в то же самое время я прочел роман Роб-Грийе, где страниц пятьдесят описывалась то ли комната, то ли картина в комнате. Или это был Клод Симон? Неважно. В общем, идея клаустрофобического путешествия по недвижимости пришлась мне тогда по душе. А потом началась какая-то другая жизнь, и я про все это накрепко позабыл.

Да, есть русское издание 2003 года, но, сидя в локдауне в Риге, я раздобыть его не могу. В сети его нет. Зато есть другой перевод (не буду называть имени автора, почему — сейчас поймете), который вывесили на специально предназначенном для таких штук сайте. Его я изучать не стал, обнаружив во введении переводчика такую фразу о Ксавье де М.: «Участвовал в войне 1812 года и получил тяжелое ранение, правда уже в 1813 г., при отражении контратаки французов при Данциге („француз против французов“? это мы так смотрим на вещи: дворянин против взбунтовавшегося быдла — так смотрел на вещи он и не только он; кстати, французские дворяне против наполеоновских войск дрались с необыкновенным ожесточением и мужеством)». Про взбунтовавшееся быдло пусть кто-нибудь другой читает, из потомственных дворян. Будучи весьма скромного происхождения, брезгливо смахнул густопятину с экрана своего ноутбука и принялся за поиски английского перевода.

И вот (спасибо тебе, библиотека Гутенберга) он передо мной: в синем переплете, с прекрасными золотыми виньетками на обложке, изданный в 1871 году в Лондоне господами Longmans, Green, Reader, Dyer. Собственно, кто из них «господин», а кто просто название фирмы, сказать

сложно; поручусь лишь за братьев Томаса и Уильяма Лонгманов, которые в то время вели дела издательства, основывая с другими почтенными джентльменами разнообразные импринты, примером чего публикатор английского перевода безделки савояра и является. Книга издана почти безупречно, листать ее в приложении Books на айпэде — одно удовольствие. Переводчиком указан некий *Н. А.*, имеющий привычку выражаться обворожительно, стимпанковски уютно. Вот что он в кратком предисловии пишет о Ксавье де Местре, который, кстати, всего за девятнадцать лет до того умер в весьма преклонном возрасте: «His other books are „Les Prisonniers du Caucase“ (1815) and „La Jeune Sibérienne,“ both of them charming works, containing faithful pictures of domestic scenes with which we are little familiar through other sources». «Charming»! «Faithful pictures of domestic scenes»! О, прекрасные времена, когда беллетристика была источником знания об образе жизни населения отдаленных мест и времен...

Немного покопался и раскрыл инициалы *Н. А.* Генри Эттвелл (*Henry Attwell*), составитель «Книги золотых мыслей» (пословицы и достопамятные изречения английского народа и его писателей), словаря франко-английских псевдосинонимов, переводчик книги француза Альбера Ревилля «Дьявол» (о ужас!). Эттвелл явно был человек культурный, филологической складки. Верить ему можно. Ничего больше я о переводчике не накопал, не считая маловероятного его следа на американском сайте Find A Grave, где можно полюбоваться на место упокоения некоего Генри Эттвелла (1829–1902), многодетного жителя штата Вирджиния. Был ли *Н. А.* просвещенным южанином-плантатором, посвящавшим свои досуги ученым занятиям? Или совпадение? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду.

Увы, наш культурный *Н. А.* не очень хорошо знает жизнь своего героя. Но не будем судить его за то. Времена темные, доинтернетные, кто бы мог ему донести, что Ксавье

де Местр после того, как обосновался в России, все-таки покидал новую свою родину несколько, а не один раз и подолгу жила в Европе, даже подумывал, не остаться ли там. Но всякий раз возвращался в Петербург. И умер в Стрельне. Вот ведь какую жизнь прожил человек, долгую, многоконтактную. Здесь в мое повествование опять лезет Пушкин со своей родней: неугомонные пушкиноведа умурились надежно пристроить в свои дискурсы Ксавье де Местра — портретиста мамы гения, посетителя салона мамы, папы и дяди гения, супруга тетки жены гения и проч.; но все же я Пушкина от моего сочинения решительно отгону прочь. Пусть порезвится за окошком комнаты лейтенанта сардинской армии. А лейтенант пусть посидит под домашним арестом. Турин. 1794 год. Ксавье де Местр, оказавшись взаперти, сочиняет «Путешествие вокруг моей комнаты».

Вот мы и добрались уже почти до самого этого «Путешествия». Только я написал это, как вспомнил, что утром в леволиберальной электронной газетке непонятно зачем прочел интервью с Трейси Эмин. Художница Эмин, вообще, не чужда идеи выставления напоказ собственного жилья. Прославилась она демонстрацией публике собственной постели, усеянной аксессуарами богемной лондонской девушки 1990-х (тампоны, бутылки из-под водки, стайки окурков и все такое). Сейчас, двадцать два года спустя, Трейси Эмин вдруг принялась фотографировать свою комнату — и себя в ней. Вот что я увидел сегодня утром на экране (перевод мой): «Искусство помогает Эмин привести хаос жизни в художественный порядок. К примеру, „Бессонница“, серия фотографий, которые она делала в течение четырех лет, пока у нее наступала менопауза. „Я не могла спать и принялась делать снимки моей комнаты. В конце концов я сфотографировала себя, посмотрела на фото и подумала, как ужасно выгляжу. И сделала еще целую кучу — мне показалось это очень интересным. Я больше не была жертвой чего-то внешнего. Я что-то делала“». История

не новая для современного арта, конечно. Но тут вот что важно — Эмин начала со своей комнаты и закончила собой. И это не только нарциссизм. Тут чудится почтенная традиция. Она даже не от Ксавье де М., а от Монтеня, наверное. Ведь это он сидел в своей башне, окруженный грядками с капустой и сочинял примерно следующее: «Такой-то вот персидский царь терпеть не мог детей. Он делал с ними то-то и то-то, а когда оказывался в покоях, где находились дети, сразу приказывал этот дом сжечь, владельца — казнить, его жену и семейство — продать в рабство. А вот некий римский консул детей обожал настолько, что забывал государственные обязанности ради возможности поиграть в обруч или крестик с младшими отпрысками своих слуг и даже рабов. За что пострадал в конце концов, когда по причине небрежения делами Республики его обвинили в государственной измене и бросили в Тибр. Человеческая природа непостоянна. Если одни говорят, что не любят детей, то, скорее всего, их плохое отношение к потомству связано с собственным несчастным детством, к примеру с холодностью отца или изменчивым характером матери. Когда другие клянутся в обожании детей, можно подозревать, что они сами не завели таковых. Что касается меня, то я в своем затворничестве предпочитаю книги детям, а прополку капустных грядок — любым веселым играм с маленькими сыновьями и дочерьми моей кастелянши. Впрочем, как знать, может, среди них есть и мои дети». Да, в умении делать неоправданные отступления, отвлекать внимание читателя на посторонние предметы, блуждать в трех соснах нехитрой мысли — во всем этом отцом современной словесности (да и искусства) был именно он, бордосец, а не савояр. Монтень, а не Ксавье де Местр придумал схему, согласно которой факт сингулярного нахождения в закрытом помещении неизбежно приводит к плетению разнообразных сюжетов, один ничтожнее другого, после чего следует изложение собственных — самых вздорных или

банальных, в зависимости от характера сидельца, — взглядов на мир и на себя, любимого.

Вот мы в нашем рассуждении дошли и до этого пункта. Себя, любимого. Года два назад я сочинил нечто вроде романа, в котором героини оказались запертыми в закрытом помещении — только не в комнате или башне поместья, а в вагоне международного экспресса. Как водится в таких случаях, произошло убийство. И его, вестимо, расследуют частным образом, нехотя, как бы случайно, и совсем не те, кому это положено делать по службе. Главный герой немного занят описанием происходящего, чуть-чуть — гаданиями детективного свойства, но в основном он рассуждает. О книгах. О напитках. Вспоминает всяческие ситуации из своей жизни. Но главный его конек — разглагольствования об аде, его устройстве, обычаях, размерах, протяженности. Когда я сочинял все это, Ксавье де Местр в моей голове отсутствовал, по крайней мере в оперативной памяти. Сейчас, когда я прочел «Путешествие вокруг моей комнаты», меня поразило следующее: насколько же, по сути, это одно и то же. Избыток свободного времени, скука, вялая лень, сменяемая припадками лихорадочной суеты, и, главное, *досужесть* сознания. Книжки, которые сочиняют на досуге, особенно вынужденном, чем-то схожи. Они могут быть хороши (как «Опыты» Монтеня), заняты (как безделки нашего славного савояра), просто скучны (как опус автора этих строк), но при всем этом главной их чертой является *полнейшая необязательность*. Эти книжки было совершенно необязательно сочинять, эти книжки совершенно необязательно читать. Аминь.

Да, но если они все-таки написаны и все-таки прочитаны, то тут есть о чем подумать. (Под финал два слова о той книге, вокруг которой я хожу вокруг да около уже несколько страниц.) Скажем, в случае сочинения Ксавье де М. интересно даже не очевидное сравнение картинок, попавших в поле зрения запертого в своей комнате автора, с нынешними экранами смартфонов, планшетов или лэптопов,

по которым вертикально, сверху вниз движутся котики, силиконовые перси, гастрономические натюрморты, алкоголические радости, портреты совершенно на самом деле никому не известных людей, чьи обычно перевернутые максимумы призваны максимально обогатить нашу внутреннюю жизнь и перцепцию реальности, и прочее и прочее. Сменились носители картинок и их количество, но само их предназначение — быть утехой досуга, безделушкой, пестро обрамлять пустоту существования — осталось тем же. Мог ли Ксавье де Местр, рисовавший головы и пейзажи и учивший других сие делать, этого не понимать? Он сам, со своей живописной жизнью, удивительным CV, где нашлось место для офицерских патентов армий двух государств, аффилиаций с самыми разнообразными учреждениями, вроде петербургского Морского музея (директор, 1805–1810) или Императорской инспекции военных портов (Великое княжество Финляндское, 1815–1816), не говоря уже о немалом послужном списке участника сообщества под названием «современники А. С. Пушкина» (опять об Пушкина, черт, но клянусь, больше ни-ни!), он сам, славный русский савояр, исполнил роль живописной финтифлюшки, декорирующей скучную пустоту того, что мы по недомыслию зовем историей. Да, так вот: я не о том вообще. Сравнения сравнениями — они все равно (не)удачны. Я о другом. Даже не о том, что лейтенант де Местр в 1794-м лучше проникал в суть психологии военной службы, чем бригадный генерал Наполеон Буонапарте (савояр был на шесть лет старше, но рангом гораздо ниже корсиканца; впрочем, и армии сардинская и французская несравнимой величины): «И в разряде людей, среди которых я живу, как много таких, кто, будучи облачен в военную форму, твердо верят, что они офицеры, до того самого момента, когда неожиданное появление противника не убеждает их в ошибочности подобного мнения». Это ведь тоже очевидно, безо всякого Ксавье. Но вот что действительно развлекло меня при чтении

«Путешествия вокруг моей комнаты», так это рассуждение о том, насколько вечным является искусство живописи и насколько преходящим, подверженным капризам времени, старения, моды — искусство музыки. Утверждение, кажущееся беспочвенным на первый взгляд, но о нем следует поразмыслить. Ведь и вправду, нет ничего более скоропортящегося, чем поп-музыка. Да и Великая Музыка Прошлого уже давно надежно прописана по ведомству шелеста вечерних платьев, звона бокалов шампанского, мельтешения смокингов, блеска ожерелий на надушенных обнаженных шеях, благородства бордового бархата кресел, прочей мишуры, которая знакома нам преимущественно по кино и живописи. То есть это музыка сохраняется за счет арта, звук за счет образа, а не наоборот. Сегодня истории про темпераментные фан-клубы Листа или Паганини кажутся забавным курьезом (при прослушивании соответствующего плейлиста), но вот от «Происхождения мира» Курбе даже много что знающий о человечестве Твиттер отворачивается в неловкости и задергивает занавесочку. Эта штука актуальности не теряет.

Второй локдаун в Риге явно не дошел еще до середины. «Путешествие вокруг моей комнаты» в милом английском переводе дочитано. Мое путешествие вокруг этого «Путешествия» завершено. Я смотрю в окно, в раннюю темень балтийского ноября, внизу неявные очертания неспешно ощупывают дорогу мокрыми конусами света, в доме напротив смотрят телевизор, серый экран периодически вспыхивает багровым сквозь постсоветский тюль. Боевик, наверное. В отличие от саояра, у меня нет слуги, так что еду придется готовить самому. Приятно, черт возьми, не покидая дома, вернуться домой после нескольких дней в пути.

*12–17 ноября 2020*

# ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ В ШОТЛАНДИИ

Полузабытые книги приносят несравненное счастье — в них обнаруживаешь знакомые вещи, которые на самом деле никогда не знал. Такие книги живут в твоём сознании до того, как наткнешься на них в какой-нибудь богом забытой букинистической лавке. Именно это произошло со мной когда-то давно в Йорке. От скуки обходя по пятому разу небольшой центр города, я обнаружил маленький магазин и спрятался там от сырости и холода. В нём я купил книжку, переизданную больше восьмидесяти лет назад, книжку, о существовании которой я никогда не знал, но уже с первых страниц я понял, что она всегда обитала в моей голове.

Эдинбургское издательство T. Nelson & Sons опубликовало «Дневник поездки с Сэмюэлом Джонсоном на Гебриды», написанный Джеймсом Босуэллом, в 1936 году. Это некогда одно из самых обсуждаемых сочинений сегодня известно лишь специалистам, а жаль. Здесь все интересно — и автор, и главный герой, и страна, по которой проходит

неспешное путешествие двух ученых джентльменов, и население этой страны.

Путешественники известны русской публике; по крайней мере *должны быть* известны ее образованной части. Многие знают Джеймса Босуэлла по мимолетней реплике Шерлока Холмса, обращенной к доктору Ватсону: «Что бы я делал без своего Босуэлла!» Заботливый комментатор советской холмсианы (я имею в виду собрание сочинений Артура Конан Дойля и перепечатки оттуда, а не загадочные книги, выходившие в начале 1980-х в Ташкенте или Кишиневе с иллюстрациями, больше похожими на нигерийские афиши голливудских блокбастеров) отмечает: Сэмюэл Джонсон (1709–1784) — выдающийся английский литератор и лексикограф, составитель и комментатор многотомного издания Шекспира, автор стихов, поэм, критических статей, биографий и — прежде всего — великого «Словаря английского языка». «Словарь английского языка» — предприятие совершенно героическое, учитывая, что подвиг совершен в одиночку. Сегодня словари составляют целые коллективы авторов, на это дело выдают гранты, получают финансирование из госбюджета, закупают технику, устраивают презентации и даже снимают специальные сюжеты для выпусков новостей. Ничего этого во второй половине XVIII века не было. Джонсон принялся за словарь в 1746 году, подписав контракт с издателем на сумму 1500 гиней с обязательством закончить работу в три года. Когда ему сказали, что подобный словарь французского языка составляли сорок французских ученых мужей, потратив на это сорок лет, наш герой ответил так: «Вот это и есть истинное соотношение. Помножим сорок на сорок и получим тысячу шестьсот. Как раз три к тысяче шестисот и есть настоящее соотношение англичанина к французу». Как мы видим, националистом Джонсон был всегда — несмотря на то, что именно ему приписывают знаменитую фразу про «патриотизм —

последнее прибежище негодяев». Впрочем, мы знаем ее со слов Босуэлла. Да, чуть не забыл, Джонсон провел за словарем не три, а восемь лет.

Джеймс Босуэлл (1740–1795) был не англичанином, а шотландцем; впрочем, никаких «этнических шотландцев» никогда не существовало. Их как *жителей Шотландии* как раз во второй половине XVIII века начали придумывать. Босуэлл родом из Эдинбурга. Эдинбург был современным городом, с могучей кастой юристов (отец Босуэлла служил судьей), со знаменитым Университетом, в котором разворачивалось знаменитое «Шотландское Просвещение», давшее миру Дэвида Юма, Адама Смита и многих других. На политической карте Великобритании XVIII века Эдинбург — «вигский город», либеральный, противостоящий английским тори, консерваторам. Это обстоятельство также не способствовало симпатии Сэмюэла Джонсона к шотландцам, сам-то он был истинным тори.

Босуэлл встретил Джонсона 16 мая 1763 года; шотландцу было двадцать два года, а англичанину — пятьдесят четыре. Так началась одна из самых знаменитых и странных дружб в истории Европы. Привязанность юного эдинбуржца к блестящему уму автора «Словаря» была столь сильна, что Босуэлл почти не замечает и довольно отталкивающую внешность Джонсона, и его ядовитый сарказм, переходящий порой в грубость, и то, что старший друг презирал родину младшего. Как известно, эта привязанность закончилась написанием — уже после смерти главного героя — босуэлловской «Жизни Сэмюэла Джонсона», которую знаменитый филолог Гарольд Блум назвал величайшей биографией, когда-либо написанной на английском. Босуэлл многие годы вел дневник, где записывал разговоры Джонсона, его выходки, какие-то мелкие детали — в общем, все, что стало потом тканью его знаменитой книги. Несомненно, «Дневник поездки с Сэмюэлом Джонсоном на Гебриды» — первый набросок «Жизни

Сэмюэла Джонсона». Но интересен он не только — и даже не столько — этим.

Босуэлл несколько лет зазывал Джонсона совершить поездку на север и запад Шотландии; последний отмахивался, иногда даже соглашался, но с места не двигался. И вот поздно вечером 14 августа 1773 года мирно отходивший ко сну Босуэлл получает записку от Джонсона, которая гласит, что тот прибыл в Эдинбург и разместился на постоялом дворе Бойда. Так началось это странное путешествие, длившееся три месяца; Босуэлл с Джонсоном, стартовав в Эдинбурге, обогнули восточное побережье центральной части Шотландии, у Куллодена свернули на запад, перерезали страну справа налево, обследовали Гебридские острова, затем западное побережье — и назад, с запада на восток в Эдинбург, с небольшим заездом в Бервик. Удивительно, как немолодой домосед, высокий, корпулентный Джонсон, обжора, любитель выпить, страдавший к тому же болезнью нервов, все это вынес. Ну и, конечно, как он не захлебнулся ядом, путешествуя по стране, которая ему решительно не нравилась.

И вот здесь — самый интересный сюжет этой книги, которую — если не иметь его в виду — не очень интересно читать. Сюжет этот историко-политический. Почти за тридцать лет до того, как Джонсон и Босуэлл принялись колесить по Шотландии, в стране всю лилась кровь. Претендент на шотландский — и английский — престол, молодой принц Чарльз Стюарт (Красавчик Чарли) высадился с небольшим отрядом на севере Шотландии в 1745 году, чтобы вернуть власть, как казалось ему и его сторонникам, законно принадлежавшую его династии. К Чарли присоединились могущественные шотландские лэрды горных районов, повстанцы нанесли несколько поражений англичанам, пока не достигли Эдинбурга и даже вторглись в северные графства Англии. Все кончилось, конечно, катастрофой: английский король отозвал свою армию с континента, где тогда

шла война, Чарли был разбит, бежал обратно во Францию, его сторонников жестоко наказали. События 1745 года — последний всплеск борьбы за шотландскую независимость; но после поражения, в ситуации жестоких репрессий (в городах было запрещено даже ношение шотландского пледа), началась работа по «созданию» шотландской нации. Ничего особенного в этом нет — подобные вещи происходили в то время и в Германии, и в других местах Европы. Трюк один и тот же — историю того или иного народа объявляли «древней», идущей с «незапамятных времен», героической, сочинялись поддельные литературные памятники героического прошлого, а также изобретались традиции, вплоть до бытовых. Все это рациональному уму Джонсона претило; один из самых забавных сюжетов «Дневника» — история о том, как саркастичный лондонский доктор раз за разом ставит под сомнение подлинность «древних гэльских» «Поэм Оссиана», сочиненных на самом деле Джеймсом Макферсоном. Чуть было не дошло до рукоприкладства — такие бушевали страсти.

Еще один забавный сюжет, связанный с «Дневником поездки с Сэмюэлом Джонсоном на Гебриды», — это наличие его более раннего двойника. Написал его сам Джонсон; «Путешествие к западным островам Шотландии» вышло в 1775 году. Это сочинение изрядно полито желчью, к тому же оно более... абстрактное, что ли. Доктора занимают преимущественно общие идеи и рассуждения; впрочем, между ними он вставляет замечания по поводу шотландцев, шотландской жизни и даже шотландской природы. Некоторые из них столь странны и нелепы, что Босуэлл в своей книге уже пытается как-то замять недоразумение. К примеру, Джонсон пишет, что в Шотландии вовсе нет деревьев, мол, один из местных лэрдов показал ему дерево и сказал, что оно вообще единственное в стране. Босуэлл в «Дневнике» принимается мямлить нечто вроде того, что достопочтенный доктор имел в виду только большие деревья,

маленькие он не брал в расчет, многого вообще не замечал в силу отвлеченности и возвышенности природы и проч. А деревья в Шотландии есть.

В общем, это книга удивительная, неспешная, как поездка в экипаже XVIII века. Прелесть ее в однообразии и ожидаемости — вот путешественники приехали в очередное поселение, вот их принимает очередной священник, профессор или горский вождь, они обедают, беседуют, Джонсон произносит очередные сентенции о чем угодно, Босуэлл прилежно их воспроизводит. Так, наверное, и устроен рай, для меня по крайней мере: неторопливая смена впечатлений, разговоры за трапезой, сплетни и колкости вперемежку с обсуждением книг и событий.

Только не забудем, что земля, на которой этот рай расположен, обильно полита кровью, еще не везде высохшей. Вот путешественники остановились в поместье лорда Эррола и за обедом тот «рассказал историю человека, его казнили в Перте несколько лет назад за убийство жившей с ним женщины, у которой от него был ребенок. Его руки были отрублены; его вздернули; но веревка порвалась, и он был вынужден лежать на земле целый час, пока не привезли из Перта другую веревку; казнь происходила в лесу на некоторой дистанции от города — на том самом месте, где было совершено преступление. „В этом, — сказал лорд, — я вижу руку Провидения“». После милой беседы гости расходятся по своим комнатам. Босуэллу не спится, и в воображении ему является отец лорда Эррола, лорд Килмарнок, которому отрубили голову на Тауэрхилле в 1746 году. «И я ощутил некоторую мрачность», — пишет наш автор. Вот-вот, лишь некоторую.